

Андрей Белый

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ПЕРИОД И МЫ В ОСВЕЩЕНИИ ПРОБЛЕМЫ «ВОСТОК И ЗАПАД»

Доклад на заседании Петербургского религиозно-философского общества
12 февраля 1917 года

Публикуемый текст «Александрйский период и мы в освещении проблемы “Восток и Запад”» стал известен благодаря подготовленному обзору материалов бывшего спецхрана ЦГАЛИ, нынешнего Российского государственного архива литературы и искусства. Сохранившийся в фонде Петербургского религиозно-философского общества доклад Андрея Белого принадлежит циклу его философской публицистики «На перевале» (1916-1918) — самому раннему его слою, причем занимает в нем весьма значительное, если не узловое положение.

Циклом «На перевале» в творчестве А.Белого открывается тот новый период, который условно назван «периодом ретроспективным» (Л.К.Долгополов). Период совершенно особенный, имеющий своей основой не просто взгляд в прошлое или автобиографические интересы как таковые, а исследование и раскрытие становления самосознающего «Я». Этот цикл состоит из трех выпусков: «Кризис жизни», «Кризис мысли», «Кризис культуры». Все вместе они составляют опыт критических и литературно-полемических статей, с которыми Белый с середины 1900-х выступал на страницах журнала «Весы».

Однако на подступах к «Александрйскому периоду...», между ним и двумя первыми «Кризисами», стоит еще один замечательный текст — большая работа А.Белого «Восток и Запад», выделяющая в своих недрах мистериальный слой. Пожалуй, утверждение «мистерии» как пути жизни есть главный элемент его собственного творчества, некий символ, воплощенный исключительно в слове. Недаром А.Белый писал в 1921 году, что видит «явственно мистерию человеческих кризисов, происходящую в сокровеннейших переживаниях духа».

«Александрийский период...» — произведение, предназначенное для устного авторского исполнения. Причем А.Белый выступал со своим докладом (исполнял его) не менее, чем дважды. Первый раз 30 ноября 1916-го в Московском религиозно-философском обществе, второй — два с половиной месяца спустя в Петрограде, тоже в религиозно-философском обществе.

Центральной темой этого доклада явилась идея «соединения Востока с Западом», понимаемая не как сочетание одного с другим, а как слияние их в живой творческой личности, которая неразложима. А.Белый естественно движется к исследованию и раскрытию именно *жизни в «Я»*. Становление самосознающей души — вот что выступает соединяющим фактором, и сливающиеся в «Я» Восток и Запад перестают быть лишь внешними полюсами, крайностями или ориентирами. Они есть символическое выражение двух взаимодополняющих начал внутреннего бытия личности. Та особая область жизни, которую А.Белый связывает с поисками *Чаши Святого Грааля*.

Предисловие и публикация
М.С.Киктева

1.

Чем был «Запад собственно»?

Возникает он медленно от X века до нашей эры и возникает особенно: от VII до V. Его родина — Греция.

В двадцати пяти столетиях оплотневает он архипелагами отчетливых островков в многовидной зыби влияний, привычек, культур, стилей, мыслей; оплотневает в индивидуальных сознаниях; он — в синтезе, в переработке всего материала истории; в определенной местности, в культуре, в науке нет «запада собственно»; науки, искусства, культуры — его материалы.

Финикийская кровь переливается свободно в субстанцию греческих мифов, и свободно входит Египет, растворяясь в греческом пульсе, перерабатываясь и из него расцветая всеми видами метаморфозы богов.

В публикации сохраняется авторская нумерация глав доклада.

2.

Мысль грека странная: у нее вместо ног — хвост змеи, тянущийся за ней в миф мистерий и соединяющий ее, как пуповина младенца, с темным матерним чревом протагоновой, орфической ночи мистерий и ужасов; ужасается она темнотою своею; таковая, *хвостатая*, мысль еще даже у греческих физиков (Анаксимандра, Фалеса); при медленном погружении в мысли ранних философов чувствуешь, как волосы встают дыбом и тело пульсирует; от *панических ужасов*: это есть ползающая змея, а не мысль в нашем смысле, которою мы владеем и которую изживаем; змеевидные мысли греков, обвиваясь вокруг нас, как вокруг древа, сами мыслят себя, изживая нас.

Смысл принято нами связывать с определенной, покорною, нами созданной и нам послушною мыслью; и потому-то нам в архаической мысли греков нет внятного смысла: есть иллюзия смысла мысли; в ней сознание наше головокружительно расширяется в образы давних былей — о первозданных громадах: о рухнувших космосах; все в ней — прошлое; *напоминает*, а не внятно учит она; взятая нашей мыслью, она — существует, как отзвук чего-то, как... *память о памяти*.

В более позднем периоде окорачиваются змеинные части; наконец, они — хвостик сатира; начиная с софистов, мысль — сатир: особенность ее, что оторванная от своего огромного прошлого, она всецело диалектически скачет, уподобляясь козлу; и она — *сатирична*; роль Сократа тут представляется нам в парадоксальнейшем образе: он гоняется за роями этих мысленных сатиров, накидывает им на шею аркан; полоняет, дисциплинирует и выпускает их на софистов; у Платона они смиренно склонились перед неведомым Богом; у Аристотеля маршируют отрядами силлогизмов; пропадает их резвая дикость; по отбыванию строевой, логической службы этих сатиров видим мы уже в образе мирных ремесленников, изготавливающих всевозможные изделия техники и становящихся рассудочными, методическими понятиями наук. (В XIX веке хвостик спрятан под фалдами фрака; и сменились копытца ботинками; золотые очки — на носу, и на груди — даже — даже... порою приват-доцентский значок, так слагалась нам *мысль*; то есть, собственно запад).

Эпоха рождения *чистой* мысли совпадает с эпохою рождения *чистого* идеала искусств: мы видим Фидия. Мы видим суровое величие *трагедии* (V век) повествующей: старые громады утрачены; с сознания человеческого хвост змеи сброшен, пороги логической мысли его с мысли срезали: он пополз теперь роком; происходившее от 1000-500

года внутри людского сознания (героический период), — произошло окончательно: мифологическая душевная брань уже оплотнела историей (персидские и наступающие пелопонесские войны); трагедия *могла быть*: повествованием о Гerkулесе-младенце и змеях, вползающих в его колыбель; но вот змеи задушены внутри нас, стали мыслями, выброшены на поверхность жизни мрачнейшим историческим роком; появление «востока» и «рока» — тогда: появление Перса с востока, как врага жизни Греции; и появление его же — уже внутри самой Греции под личиной братоубийственной брани: наступающей пелопонесской войны; все это громы истории: но громы уже *после* молнии совершившейся катастрофы старого мира; молния была; и когда Перс появился, катастрофа была уже в прошлом; и — очищалось сознание: *змееное* прошлое грека уже было отрезано; миф в историю воплотился; перестал быть опасен; душа справилась с мифом: у колоссального Перса ноги были из глины.

Трагедия могла быть *очищенной*; мысль, сложившаяся в отчетливое единство в лице Сократа, Платона и Аристотеля, справилась со своим «востоком» — самопроизвольно зажившей змеєю; покорение «запада» и «востока» Александром Великим — удар меча грека по глиняным ногам рока и разрыв исторических перспектив в судьбу сверх-историческую: разрыв самой Греции, как исторически самобытного тела, в оплодотворяющее начало «западно-восточных» культур.

4.

Центр событий, слагавший блистательную историю Греции, остается сокрытым; воочию никто не видел его; не воплощается он в образ: мысли, героя, события; но духовную бурей проносится в куще душ и отрясает плоды: падают в день истории индивидуальности, события, мысли: раздаётся гомеровский эпос; отражает персов; потрясаются Софоклом и Фидием; и волнуются событиями пелопонесской войны; падают плоды древа: в историю отрясается Греция; и змеи пифийских расселин теперь — кастаньские струи; у них жала вырваны.

До этого: мысль — кончик прощупи, расширяемой в конус огромного утробного мира; переломился он, перевернулся и протянулся под ясное небо, развиваясь в форму чаши; и Платонова форма — кристалльная чаша.

Куда чаша протянута?

В Александрию, к Филону, к Плотину; логика протянута... к Логосу.

6.

Александрийский период...

В причудливостях пересеченных культур прорез чаяний о единстве всего мирового; Его нет; перед нами груды поверженных храмов; и — голоса:

— Гибель мира близка.

Будто бы: из расколотых гробов огромного прошлого перед нами проходят одетые в мифы, как в саваны, Аполлоний Тианский и Симон.

Никомах, Сатурнин, Василид, Валентин повествуют о таинствах бытия божества: образы Ахамота, Софии и Офиса стоят перед нами; безумным романом течет нам вселенная; из муже-женского Бифоса, бездны, истекает цепь эонов; Дух, первый эон, зрит Истину, свою супругу, рождая с Ней Разум и Жизнь; те рождают уже Человека; падают цепи эонов, развивая в падении страсть к источнику совершенства, страсть меж безднами — образ влюбленной Софии; эоны принимают участие в ее страсти; в романических катастрофах мира течет нам вселенная; и мир страсти нашей, вторая София, рождается из страсти Небесной; и эта вторая София — бросается в хаос; текут воды из слез ее; а из улыбки струятся ее: лучезарные светочи; материей оплотневают печали Софии.

Происхождение миров и богов — будто страстный роман.

7.

Александрийский период — есть сказка; неуловима ее новизна; но обломочный мир погибающих в ней, непроцветших культур уловим; Александрийский период — гробница, в ней сгнивает все прошлое; в ней оно — только хаос бушующих саванов; мы видим: из саванов вылетает Психея всей греческой жизни: падает в бездну Духа. И она — непорочна, как снег. Многодумна, как ночь.

Вся ты в огнях, как полярное пламя,
Темного хаоса светлая дочь.

Вл.Соловьев

8.

Александрийский период — какое-то: *то*, да *не то*; в нем смещаются все предметы; точка же смещения не дана; кажется, все

осталось по-прежнему; и ничто не достигнуто; все же — внутреннее потрясение сказалось; оно зажило в недостигнутых образах будущей жизни мысли.

Александриец воистину потрясен в ощущении ему зримым и оку незримым Видением. Собственно и Видения нет: и оно в нем — «как бы».

10.

Систематическое изложение понятий предполагает не мертвое возлежание их в мертво оформленном Разуме; а описание кипения ритмов мыслительной жизни в живо данной стране: произрастание, процветание их; здесь идеи — летучие существа страны мысли; и — описуемы танцы их. Их не знает Платон, потому что средствами действий рассудка он обводит страну жизни мысли: обводит пунктиром; оттого-то вот — его идеи пунктир; оттого-то вот: пунктир, его Бог; разумеется, не у Платона пунктир его Бог, а в дальнейших раскрытиях Платоновой мысли. У Платона не то: Платоново представление идеи продавлено в Бога; и в идею продавлено Бытие всех вещей. Над материальной чувственностью диалектически окрыляются мысли чистого грека, и они оскультурены; тeneвым перевернутым представлением о Платоновой форме, понятием, иносказательно живописует Плотин нам о стадии упадания идеи в рассудок.

12.

Отношение Александрии и Греции напоминает нам конусы, опрокинутые друг над другом: черта — между ними.

Расширяется до идеи в одном заостренная скульптура понятий; и до понятийных взятий идеи в другом упадает идея; но... неодолима черта меж мирами идей и понятий; понятие об идее — абсурд; определение идеи понятием разума есть кощунственный въезд на коне рассудочных предпосылок в храм разума.

В Александрийском периоде видим мы: вырезание нерукотворного храма мысли рассудком; и оттого оно выглядит: вырезанием воздуха; видим — линии вырезов воздуха; храма мысли не видим; получается нечто вроде «писания вилами по воде»; и такое «писания вилами» — Александрийский период.

Оба конуса мысли — Александрия и Греция — отделены друг от друга: первосущее у Плотина сужается в мир духовной душевности; чувственность у него не пронизана духом; между солнцем Плотина и нами — покров; сказ о солнце есть сказ через понятие; оттого-то он есть «несказуемый сказ».

В эротическом окрылении Платона возносимся мы — в мир идей; но окрыление это — душевно-телесно; и красочность идеального мира есть поэтому чувственность.

Линия разделения конусов — сознание граней рассудка; в Александрии и Греции нет его; и оттого-то: *развитием* выглядят все попытки *развития* Платоновой мысли; мысль, ударившись о рассудок, повергнута; в умении править страстью — преодоление граней и — стоицизм перед нами; или: в чувственность упадает мысль, отрицая себя: скептицизм.

13.

Скептицизм, стоицизм — обвал мысли Греции; мысль срывается с кражей: Александрийский период — крупнейший перепрыг души мысли в дух мысли; и поэтому — выпрыг он, нам являющийся эпилептический припадок чувственно рожденных понятий; тело мысли здесь корчится: дух не сошел в него.

14.

Мысли вылезли из утробы земной; земны мысли в еврействе; мысль в кипениях крови прорылась сквозь кровь; и кипение крови мыслью — пророчество; обратное: образование паров над кипением родовой, кровной жизни есть мысль древней Греции; в поздней Греции образование мыслей — осадки: облако струит дождь; атмосферична мысль Грека. Голубой покров атмосферы — она.

В Александрийском периоде воздушная атмосфера разорвана; солнце грека из неба упало, как фэтон; сорваны лазури вселенной: Небеса свились свитком; черна верхняя бездна: в нее — звезды нового Космоса смотрят, как в разбитое темя вселенной: в нее сыплются метеориты из мыслей.

Меж Александрией и Грецией нет еще буфера в виде линии мысли от блаженного Августина до наших дней; падение Александрии на Грецию здесь поэтому выглядит: разбитием черепного покрова: ударом

болида о темя; так с безмерностью Космоса сопрягается сознанием человек; окрыленная человечья глава — это ангел.

И ангелично — сознание.

В безмерные синие зыби
Лети, литургия моя:
В земле, упдающей глыбе,
О Небо, провижу Тебя.
Восторгом меня преисполни,
Родной стариною дыша:
Из светочей, блесков и молний
Сотканная, плачет душа.
Все вспомнилось: прежним приветом
Слетает в невольный мой стих
Архангел, трепещущий светом,
На солнечных крыльях своих.

15.

Александрию прорастает Греция в Иудею: Египет бросается в Грецию.

Соединяются: *Запад с Востоком*; и — вера со знанием.

В тело мира вращает скелет мысли Слова; и оттого просветляется: духоведение храмовых иерофантов в Гермесовы мысли; мысли Слова, слагая планеты, вращают планеты.

Здесь, в мерцании звезд, прорезается тайное человеческих устремлений, потому что мир меня мыслит; и во вселенной слова — мои. Мысленна, ангелична природа; мысленна, ангелична — природа моя; связь природ — в «Я» всего.

Это «Я»!

Но вот оно открыто:

Открылось!.. Весть весенняя, удар молниеносный, —
Разорванный, пылающий, блистающий покров!
В грядущие, громовые, блистающие весны,
Как в радуги прозрачные, спускается... Христос!
И Голос поднимается из огненного Облака:
«Вот чаша благодатная, исполненная дней...»
И огненные голуби из огненного облака
Раскидывают светочи, как два крыла над ней.

Эта чаша есть «я» мое: оно Голубя ждет.

17.

Здесь, в Филоновой философии и в герметических книгах, — еще небывалые зори не всшедшего Солнца; но — зори потушены.

Солнце подлинно — в середине души; свет единственный — просвещающий Свет — свет логический: его действие в оболочках душевности, прячущих дух наш от тела, есть свет, просветляющий тело: Фаворский. Просвещение за порогом дневного познания непросветленного сознания нашего — низведение в землю огромного мирового светила: схождение Слова.

Повествования евреев о времени схождения Слова — в этом смысле — рассказ: об отношении Мысли к мирам нашей жизни; здесь история, да и самое время — подобия просвещения сознания. Здесь наука о звездах есть «пан-логизм», не отвлеченный, как Гегелев, но влитый в кость мускулов жизни.

Здесь, в истории мысли, встречает нас первая прорезь воистину воплощенного представления об идее; в системе оно не дано, а загадано в сочетании начал мысли Филона, Гермеса, Иоанна; и загадано в мощном подобии Иезекииловых многочитых колес, четырех животных и Слова, над ними парящего; здесь загадан весь Гегель; и Гете загадан здесь тоже.

18.

Философия Александрии есть темное покровение: Откровения. Точка нового света в нем прорастает лучом, как зерно протянутым колосом; проникание колосом света покровов есть их прорастание: философией, логикой и наукой; оно есть уже в Прокле. В гуманизме мы видим процветшими александрийские пелены истин мысли: Александрии не видно под ними: она вся — в перегное; в зеленях просвещения новоявленной Греции ренессанса остается закваска ее; на ее дрожжах всходит тесто; нет вскипания в правилах христианства, в догматах Церкви; есть насильственное извлечение из непрокисшего теста дрожжей. Преждевременна беспокровность открытого в упрощениях протестантства; преждевременно положение предела для гнозиса в догмате. Преждевременен свет без покровов; он нам явлен в покровах: свет солнечный; еще даже покров — свет Фаворский: для подлинно Света; этот Свет все еще покровенен; преждевременное разоблачение Света в истории мысли поэтому выглядит: учащением Света; сдержанные

покровы с него — жалкий труп нашей жизни: столкнут труп в пустоту. Там, где Духа искали, уж не было Духа: на небе; уж Дух сошел в землю, прорастая в ней безграничной свободой исканий; в небе был огромный футляр, заключающий пустоту: Небеса астрономии — суть пустая громада спешшего из нее в землю Духа. В Нем восстанет земля.

Третий день не исполнился: ждем его.

Ныне Дух дан нам в импульсе кипения жизни, восстания «теста».

19.

Все боящееся, несвободное, двоящееся и до сей поры тянется к гуманизму Гуса и Бруно... одною рукою: другою — сжигает их; современные пастыри стад ими согнанной в кучу твари пусть выскажут нам открыто и честно: свое отношение к гуманизму, чтобы и мы твердо знали, с кем мы: со «святым» Костром или со светом... гуманности.

20.

«Свет Христов просвещает».

Просвещаемы Александрийские обломки культуры: просвещаемо устремление Аполлония; просвещаемы даже... хулители света.

Подозревание духовных порывов есть мерзость; подозревание улыбки Джиоконды — разврат; Монну Лизу мы созерцаем невинно; рассуждение о развратности произведений искусства вторично сжигает: Джордано Бруно и Гуса; нас ведет на утонченный костер; и, конечно, срывает с известного московского здания ему присущую надпись.

«Свет Христов просвещает всех».

21.

Александрии пригрезилась пульсы сложенья культур и процессы духовного восставания культур в человеке; но летающий пульс оборвался: он жалок и беден.

В Александрийском периоде выражен момент элеатства; гераклический вихрь изменений многообразий единого тушится; метаморфоза духовных наглядностей подменяется генеалогией плотского; чувственно образы выпирают из ритма, а ритм, не впечатанный в образ, смерзается в кое-как надетую схему; и в животнопонятной мистике, в черственениях

убогих абстракций мифы, взятые так, рвут свой собственный идеальнейший смысл.

Высота интуиции при попытках ее так оформить — косноязычие упадочной мысли.

23.

В Александрийском периоде подлинно тяготение к соединению «Запада» и «Востока»; тяготение было огромно, огромней стремящихся; перегруженная тяжестью проволока иногда теряет упругость; перегружение тяготением деформировало Александрийский период, возникший в чрезмерностях; и выразилось: в отсутствии соединения ритмов западных и восточных культур.

Александрийский период являет сложение каркасов в «востоко-запад» огромной тяжелой идеи: централизации; централизация — оплотнение ритма единства; оплотневшая действительность восстает перед нами: в государственной, Римской идее; но в идею ту — входит Перс; централизация подменяется деспотизмом, а право — правящим; обожествлением самовластия в «запад» влился «восток». «Нутро» древнего грека преждевременно здесь перекинуто над верхним порогом сознания нашего и появилось... на троне. Александрийский период себе не поставил вопроса:

Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль... Христа?

Но появился ответ на сознанием не вскрытый вопрос.

Ответ?

Ксеркс.

Далее происходит разлом Рима собственно на Византию и Рим; а Собрание ритмов единства в себя государством (включение надсознательной выси в хоромы сознания) осуществилось: соединением Государства и Церкви; противоречие устремлений здесь скрыто в Церкви: в одновременном желании и хоромами овладеть, и — отдать себя им. В цезаропапизме, в стремлении к восточному рабству — находим все это.

Александрия не справилась с устремлением: обезумела в прыжке своем, надвое расколов человека: на главу и на сердце; прыжок не удался; Александрия упала в действительность, как в свой собственный ею же сложенный гроб (в Византию и в Рим). Вознесение в страну Духа

обернулось в ней прозаическим путешествием по Средиземному морю; и — только.

Александрия представилась.

Ее дух — не угас.

24.

Ритм роста мысли от Греции собственно к Греции Александрийской напоминает нам эпилепсию.

Вдруг задания греков — невероятно прозрачатся: на могучих крылатых размахах ненормально расширена самая Платонова мысль; чувствуешь вдруг себя из себя извлеченным, изъятым: брэнно органы тела опали осенними листьями; ощущение, зрение, слух — заструились стремительно, пролетая радужно мимо; и улетев — в *никуда*.

Несказуемо переживание александрийца в его посещающей правде: запечатлеть, увидеть, понять невозможно; понимания, мысли, понятия — все летит пред тобою и шепчет тебе свою правду; ты — полон рассказом вещей, улетающих в немое безвещие; ты мгновенно узрел; ты — *услышал*; ты — *понял*; разоблачен лик вселенной на своем объясняющем стержне; ни глазами, ни ухом его не уловит никто, потому что спадают очками глаза; уши тоже — не уши: наушники; и они тоже спали; язык — отвалился.

Чувствуешь, что не вынести страшной ясности зримой, низринутой мысли; и невольно в испуге хватаешься за лежащие перед тобою — язык и глаза; облакаясь в них, путаешь; говоришь расширенным оком; зриаешь словами.

Александрийский период есть взгляд — без единого слова; такой взгляд — говорит; или же: Александрийский период есть тоже спешное низание слов; и — слепое, хоть — звучное (филологическое задание ярко: глоссолалия — ярка); в этих звучностях грохот паденья громов ангелической мысли; но разрешается грохот падения: корчами.

Александрийский период есть корчи: внутри жизни мысли; ею зримое там — ее брэнный разрыв в страну чистого Духа.

Причины припадка — в незрелости: мига молнии в голове — голова не выносит еще: разрывается мозг; в голове — муравейники мыслей, палимые *интуицией*; опаленный остаток *сознания*, не излитый, стоит перед нами кретином: кретин гримасирует схемами и румянится мифами; надевает пестреющий хитон и запястья Востока, бежит от ударов палящих, разительных молний в глухие покровы природы:

кроет голову розами; кроет тело объятием; и под покровом природы, спасенный природою, начинает низать он слова в тончайшие звучности Филологии, уподобля треск слов громовым раскатам — *оттуда*; и пытаюсь риторством извращенных понятий изобразить беги виденной молнии.

Александриец — филолог, философ и ритор — это нервнобольной: пожалеем его.

Александрийский период есть огромное извращенье понятий Платоновой философии, где последняя выглядит только жалким рассказом о своей над-Платоновой высоте, о пирах чистой мысли внутри интуиции; неугасимая тоска по идее, невыразимой, незримой, взрывает в нем темные вопли страстей: и вторая София — пред ним возникает томлением чувственной жизни, в котором Он ищет конкретностей, невыразимых словами; не утоляет и чувственность: Александриец кричит ею нам о своих сверх-чувственных высях; и ломая в себе свои чувства, он их извращает.

25.

Молнии в мысли, нежданно сразившие мысли, — суть отблески другой яркой молнии: молнии сошествия Логоса; отблески — в голове; и отблески — в сердце; пока — только отблески!

А сраженные мысли бессильно и долго потом возлежали, не двигаясь, в догматических «раках».

В сердцебиениях и головном искривлении повторяет впоследствии христианство «Востоки» и «Запады»: головной рост схоластики все же есть развитие Истины в голове; а развитие истины в сердце есть подвиг: Любовности; так развитие мысли Логоса по истории пробегает под тенями оболочек из мозга и сердца: под бессердечием жалких опытов мысли над быющей жизнью в догматике; под безумием пламенений сердечных, нежданно, безудержно хлынувших из «безголового» сердца огромнейшим, инквизиционным костром.

Соединение головы и сердца исполнится: в *верном знании сердца*, в *умном делании* головы — ждем его.

26.

Александрийский период — строительство храма мысли; но план взят из Греции; материалы — обломки культур; вместо пригнанных

камней мы видим: дорический цоколь, отбитые лотосы капителей Египта, голову ассирийского льва, лапу Сфинкса; в непригоняемых, пестрейших частях похоронен самый план; требовалась работа тесания, цемент и возведенные стены истории философии, чтобы заполнить скачок от подножия... к куполу; недоставало: методологии, логики; недоставало системы наук в нашем духе с Когэном и Наторпом, чтоб интуиция не легла непосредственно на уплотневшие мифы; противоречия угрызающей совестью рвали душу александрийца; отвлечение — претило ему; и, однако, боялся он в метаморфозах конкретного утопить лик Единства; если бы он был более с Гераклитом и менее с Элеатами, ему было бы легче; он не силился бы протягивать между случайными мифами свои случайные связи; паутиная — работа понятий ему не под силу; мысль Платона в видимом своем выражении черственела, выдавливая из себя чувственно разбухшие мифы: наросты на мысли; но в невидимом взятии мысли Александриец воистину слышал: гармонию Сфер ее, где она, расширяясь, являла вид конуса, отлетающего от Главы двумя крыльями света.

Поднятие на высоты прозрачит нам воды; так поднятие сознания над собой опзрачило александрийцу лежащее за порогом сознания древнее тело мысли: змеевое туловище. Появлялся — «гад».

Соловьев говорит:

Гад не виден подводный,
Да и скал не видать...

Преступи сознание грани, — за верхним порогом Сознания приоткроется панорама лежащего за нижним порогом, и «гад» будет виден.

Апокалиптика напечатлела «дракона»; в катастрофическом периоде мысли перед *видящим* возникало старинное тело сознания: *зверь* являлся из бездны, грозясь сознанию.

Раздавались тогда голоса: «Гибель мира близка».

27.

Образу до-Сократовой мысли, человекоглавой змее, противопоставили окрыленную главу человека... без тела: то — ангел. Но формующее начало, глава, есть сознание человека; содержание формования для чистого грека суть мифы: змея; содержание форм в Александрии подчас — над главою парящие и безглавые крылья: над-человеческие конкретности

страны Духа; проявления жизни их очень часто космичны; может быть — проявления эти суть вращения кипящих колес, наподобие «Иезекииловых»; прорезаясь в главе человека, потрясали они; человек ужасался: вспыхивал пожар чувств; в нем сгорала действительность.

29.

Философия интуиции должна бы была проработать нам две системы воззрений: после-Платонову и до-Сократову; соединить воедино их. Александрия же обнаружила — лишь глубочайший расщеп. В рассуждениях Дионисия Ареопагита об ангельских иерархиях открыта свобода символики; но свобода ведет к уподоблениям чисто животным в иных школах мысли; понятия располагаются розеткой вокруг; образы давних былей животнo вползают и обвиваются вокруг древа познания; фигурирует снова змея: то — распятая, то — на древе; человек углубляется в чувственное изживание символа, в нем провидя страну жизни духа; жизнь становится «животом»; а «живот» — кишки, — то есть — «змеи»; аналогия жизни животностям переходит уже в гомологию; понятия, истончаясь в иносказательных смыслах, нам сияют перекинуть мост от параллелей к их корню в генезисе.

В стране мысли встает не Христос, а искусственный представитель Его: познающий субъект, т.е. «папа в тиаре»; выметается жизнь за пороги схоластики; жизнь становится «животом», «чревом», «полом»; вдавление эротизма и пола в страну жизни мысли есть обратное действие: свержение «папы в тиаре»: восстание змея над искусственной оградой догматизма; метафизика углубления пола, как бы ее мы ни приняли, есть бунт гностицизма: противодействие преждевременному пределу познания.

30.

Вместо схождения Бога «во ад» нашей жизни перед нами проносятся: *окрыленная адская гадина*; потрясенные видом звериным, бежим за ограду из догматов: бежим от себя, разрывая себя на змею и на ангела; так становится жизнь неутомной борьбой; при движении вверх обнажается змеевое копневище: падает человек при попытке уразуметь «свист змеин» — потрясен человек: грозный ангел его посещает и язвит пламеносным мечом; оба видения — пороги; и оба видения — *стражи*; преодоление «*стражей порога*» — в деятельном

углублении самосознания человека. Разделение на добро и на зло не отмечает нам зла; убеганье от зла выглядит перегородкой внутри человека; верхняя его часть здесь не ведает жизни нижней. Человек, познающий себя, — многоочитый, крылатый, хвостатый и голубино-змеиный; преодоление зла не достигаемо отметанием; достигаемо внутренним уразумением злодеянного ритма; в манихействе встречаем попытку переплавления зла.

Манихейство не понято.

Манес — это «манас»; «Манас» — дух в человеке; достигаем он при овладении «Я» над астралом; и схождение «во ад» есть при этом; есть и встреча с «порогом». Манес волил «манас».

Слабое «Я» человека, субъект, потрясенный видением ада, — закрылся от ада... огромной тиарой; деятельное схождение человека «во ад» не исполнилось; отвергнули Голгофу страданий самосознющего «Я»; чистый Голубь духовности не сошел; черный ворон, познание философических абстракций, — спустился; и — каркал... столетия.

31.

Манихейство провидело линию устремления человечества; и его недаром связуют с легендами... о Круглом Столе.

32.

Мировая жизнь Греции переживалась в хвосте; в конусе сошедшего света и в чаше, приемлющей Голубя, переживалась жизнь после.

«Вот — чаша благодатная, исполненная дней...»

И огненные Голуби из огненного воздуха

Раскидывают светочи как два крыла над ней.

Эта чаша — верхняя часть человека; края чаши — череп с открывшимся теменем, соединяющим сознание с Небом; подставка же — горло, вводящее внутренним словом Голубя в сердце; Голубь — Дух; сердце — алтарь града Нового: града солнечного освещения жизни.

Если «голубка» опустится, то сами «змеи» — Живот — приподымутся к светом прославленной Чаше, оставляя змеиные кожи свои; преображенные «змеи» суть птицы; и чудесным пением птиц —

голосов — преисполнится человек; посетит его — инспирация; голубиная кротость в нем подлинно сочетается со змеиной мудростью.

Вечная истина обретает в нем служителя: сочетается с лилией роза.

Белую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем:
Тайной пророческой грезой
Вечную истину мы облетаем.

Вл.Соловьев

33.

Искажает пророческий образ Чаши, просветляющей наш змеиный живот, символика некоторых искривлений офитства: здесь, в символике этой, змея... вылезает... из Чаши... А внесение эпилепсии в интуицию — сверх-сознание утопляет; Чаша здесь недолжно опущена; не удержана сердцем она; и опущена... в Чрево, где змей вяжет Голубя ужасами радений.

Нашу голубку вяжите
Ярыми кольцами древнего Змия.

Вл.Соловьев

Облеченный в Голубя змий прорезается явственно в темном лике Хлыста.

В Александрийском периоде змей восставал: Драконом, Протагоном и... Офисом.

Восстает и теперь.

34.

Не было восставания этого во времена Персеваля: над зданием Чаши, поставленной в сердце (Круглый Стол — не оно ли?), Клигзор строил башню; эта башня есть череп: черепные кости сознания оплотнели в грядущем (шестнадцатым веком и философским «субъектом»); черепные кости сознания отрезали от сердца сошествие в него Голубя: рыцари объявили войну Клигзорову замку. Страшное деяние Клигзора — умерщвление «Я» познающим «субъектом»: оскпление духа жизни в сознании нашем, ведущее к ожирению, к брюху. Характерная черта Клигзора: скопец он.

35.

Форма познания — чаша — рассудок, поставленный в сердце для приятия духовного содержания познания. Символика интуитивного акта дана здесь отчетливо; Александрийский период символик этой не знал; и в установке — запутался.

36.

Интуиция — храм.

В нем алтарь — наше сердце; и купол небесный — сознание; в интуиции человек внутри храма; не интуиция в нем, а он — в ней; познание здесь — литургия, творящая тайны; рукотворные храмы — намеки на то, куда надо войти, куда надо проснуться: мы спим; наши грезы о храме суть храмы, творимые рукою человека; храмовое творчество — жесты: напоминают они, а не учат...

Внутри храма познания человек есть служитель по чину Мельхиседека; но выходя из него, он есть рыцарь, проводящий в руку сошедшее с Небеси; перестроение головы, руки, сердца его облакает в доспехи: у него пернатая голова, защищенная латами грудь; и — меченосная длань, это новое тело его — Мон-Сальват; сознание нового тела есть Персеваль.

Александрийский период в истории мысли стоит Амфортасом — с опущенной чашею, преждевременно изливающей свою солнечность в змеиное чрево; змея, протянувшись копьём, ему жалит сознание; истекает смертельная рана его; и он ждет — Персеваля.

Исторический Персеваль, как он выглядит у де Троя и у Вольфрама фон Эшенбаха, — улыбка в грядущее. Грядущее — наше время.

Мы ждем Персеваля.

37.

Непосредственно к сознанию человека — над ним! — теология приставляет часть Неба: в кристаллах догматики.

Кристаллы — не небо.

Теология предварительно разрывает надвое Небо: на постижимую (Небо в кристаллах) и непостижимую части; первое, постижимое небо, стоит над главой на расширенных понятиях рассудка в неестественном употреблении их; неестественность обнаружена впоследствии нашей теорией знания; свободному сознанию человека, его живой части, не по себе —

в на него нахлобученной части неба; он ее ощущает надстройкою; в схоластике он расшатывает надстройку; номинализм, реализм — разложение небесных кристаллов в сознании; метафизика и новая философия видят: самое небо стоит на фундаменте сознания нашего.

В противовес устремлению к Свободе — опрокинутые над головой человека, как чаша, теологические Небеса падают на эту главу великолепную шапкой: тиарой; теология вынужденно облакает в тиару сперва; а потом в нее вдавливают; все движения — стеснены; мы — в футляре; мы — скованы; продолжается уплотнение оков... до железа; известная инквизиционная пытка — «железная дама» — футляр, изнутри истыканный остриями; и человекообразный извне.

38.

Человек в истории бунтовал, разбивая футляры, вмененные буллами; и «железную даму» он выставил для обозрения публики в одной старой башне; я — был в этой башне; вы все в ней бывали; мы в ней пребываем давно; да — мы живем в башне; передвигаемся свободно мы в ней; но из нее не выходим; выхода из нее мы не можем найти, потому что старинная башня — наш череп: Клингзор ее выстроил: над черепными костями, с веранды, — от нас гонит Голубя.

Мы ждем Персеваля: но жизнь внутри башни Персеваля являет, как «blonde bestia», — чувственно изживающим себя господином — подчас в прусской каске; так он выглядит часто на западе.

На востоке Европы он — хлыст.

Есть край, где старый замок
В пучину бьющих вод
Зубцами серых башен
Глядит который год.
Докучно пролетает
Докучный рой минут:
Есть Королевна в замке,
И есть горбатый шут.

Пучина вод, бьющих в замок, есть кровь наша, жаждущая разлива Свободы; а замок есть ей угрожающий замок; Королевна — душа нашей жизни, как Кундри, в плену у Клингзора; горбатый шут есть Клингзор. Королевна ждет избавителя: скачет он,

Копьем кидаясь в Солнце
Над пенистым ручьем,
Трубой играя в ветер,
Блистая вдаль копьём.

Избавитель есть Персеваль.
Будет — бой.

39.

Человек не дошел до конца в дерзновении; стены башни — сознания — крепки; Клингзора боится тот рыцарь, кто в истории более всего бунтовал; рыцарь науки более всего боится Клингзора.

Человек современности в устремлении к чистой свободе да разобьет нависающий замок над ним и да вырвет сознание из мозга.

Приемли, Королевна,
Спасение свое:
В железные ворота
Ударилось копьё!

Королевна, душа, стук копья в стены башни давно уже слышит: и предчувствуя бой Персеваля с «шутом» нашей жизни, Клингзором, боится чего-то: Клингзор нашептал Королевне, что этот стук есть стук смерти: выходжение за пределы черепа — смерть; самый стук из Свободы воспринимает она, как старик метерлинковской драмы, «L'intruse».

— Вы не слышали: там «стучат».

Смерть же, череп — Клингзор, — наклоняясь, ей шепчет о том, что последнее дерзновение — пробитие черепа: смертно.

Приемли, Королевна,
Спасение свое:
В железные ворота
Ударилось копьё!

40.

Сознание наше должно разорвать свои бранные, костные оболочки, а то «ворон» — субъект — заключает наше «Я», закрепощая навеки в твердыне застылых понятий, бросая оттуда все жизненное в пучины.

Человек наших дней есть ландшафт, изображающий край опустошенный, унылый:

Есть край, где старый замок
В пучину бьющих вод
Зубцами серых башен
Глядит — который год?

Череп глядит в бездну жизни: понятие — в чувственность; ангелично иссушен наш мозг; мы иссушенным мозгом глядим на ожиревшее чрево — без воли к дерзанию.

Да, мы чувствуем наше рабство; и да, мы к Христовой Свободе — стремимся; но стремление без подлинного «восхищения царства Божия» — силою — выглядит: оскотлением сердца в союзе с Клингзором; за Клингзором стоит Ариман, Мефистофель и — тьма; или стремление к свободе осуществляет себя в утолении сердцем ума, не развившего мощи, бескрылого вовсе; расширяется сердце наше; оно — пламенеет; но в пламени восстает нам змея, Люцифер: и — искушает хлыстовством.

41.

Два романа мои, «ПЕТЕРБУРГ» и «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ», рисуют два ужаса не дерзающей до конца жизни нашей: освобождение в бессердечной Главе и в безумстве сердечном.

Аполлон Аполлонович Аблеухов убегает от жизни в «Главу»: по ней, путешествуя, бродит он: но «Глава» эта — желтый дом Аримана: разросшийся череп; и гонит безумие Сердца к свободе от мозга — Дарьяльского: он сгорает в радениях: из Столяра Кудеярова на него глядит Люцифер: гибнет он.

42.

Наша Свобода дерзает: над сердечным огнем взлететь к стенкам черепа и разорвать стенки черепа: Николай Аполлонович необходимость разрыва в себе ощущает: движением Проглоченной бомбы; в нем нет воли к разрыву: в неволе разрыва и в противлении ветхой формы сознания жизни сознание, да и самая жизнь в нем — кривятся: оттого-то сенаторский сын гримасирует на страницах романа; пришло время дерзания: если мы не воспримем его, все равно мы его ощутим: ощутим проглоченной бомбой; над собою должны мы взлететь; не взлетим — разорвемся.

Жизнь рвется: шатается.

Череп будет разбит: светлый Голубь пришествия спустится в отверстие наших разрывов: соединение головных и сердечных наук будет следствием схождения Голубя из-за мозга сквозь мозг на сердечный престол.

Чаша сделана будет: Персеваль будет с нами.

44.

«Запад собственно» есть середина: сознание наше: «Запад собственно» не на западе; и «Восток» не восток; так сказать, на «Восток» и на «Запад» протянут он от собственно «Запада»; собственно он — «верх» и «низ», лежащие за порогом.

Передвижения сознания к порогам являют нам по-иному «Восток» и «Запад»: Восток «под-сознания» угрожает змеей, Люцифером и «Ксерксом»; Запад же «сверх-сознания» угрожает нам безличной тиарою, государством, централизацией и бескровной идеей.

В этом смысле явление Канта — картина стояния меж «Востоком» и «Западом»: меж «Западом» над-индивидуального государственного субъекта и кипением чрева в нас.

Преодоление «Востока» и «Запада» не в движении с «запада» на «восток», ни — обратно.

Преодоление «Запада» и «Востока» — в разбитии всех границ: в преодолении «Стражей порогов» в свободу Христову.

*Российский государственный архив
литературы и искусства. Ф.2176, оп.1, д.29.
Машинопись с правкой автора.*